



С. А. КОТЛЯРЕВСКИЙ
МАРК АВРЕЛИЙ

Атмосфера глубокого и подлинного трагизма окружает образ Марка Аврелия. Юлий Цезарь погиб, когда то жизненное его дело, которому уготовано было торжество в истории римской цивилизации, уже совершилось, и эта смерть не могла остановить ни внутреннего преобразования республиканского строя, ни романизации европейского Запада; можно сказать, личная катастрофа лишь засвидетельствовала прочность закладываемого здания.

Юлиан провел жизнь в безнадежной борьбе, защищая обреченный на гибель культурно-общественный уклад; его царствование осталось каким-то мимолетным недо-разумением, которое не ослабило и не задержало союза христианства с империей: здесь было лишь бессилие угадать дух времени, слабость воображения, поработенного прошлым, — все то, что не отличает Юлиана среди ряда других утопистов реакции, если не обращать внимания на его личное благородство и бескорыстие.

Совершенно иначе сложилась историческая судьба Марка Аврелия. В целях его государственной деятельности, как и в самой его натуре, не было ничего утопического. Он шел по тому широкому пути правового и морального оздоровления империи, на котором он имел предшественников,

подобных Траяну, Адриану и Антонину; им завершился тот поистине золотой век Римской империи, когда ее представители совмещали со старыми, унаследованными от республики устоями новую универсальную культуру, символически выражающуюся в словах: *rex romanus*¹. Это была монархия, как нельзя более далекая — несмотря на внешние формы — от азиатской деспотии и едва ли не приближающаяся к типу пожизненной стратегии, описанной в «Политике» Аристотеля. Если верить афоризму, что у всякого народа есть правительство, которого он заслуживает, то населению империи II века нельзя отказать в весьма высокой исторической оценке.

Но как все это было не прочно! Марк Аврелий заканчивал, а не открывал блестящую главу из истории римской монархии. Он получил власть из рук Антонина Пия, которому он посвятил столь прочувствованную характеристику в своих «Размышлениях», — и он должен был передать эту власть сыну Коммоду, духовный кругозор коего ограничивался цирком и удовольствиями в уровень со вкусом конюхов и кулачных борцов. Господство философии, за которое Марк Аврелий получил, впрочем, от позднейших историков более порицаний, чем похвал, уступает место господству разнузданного насилия.

Империя входит в полосу того хозяйственного и культурного кризиса, который отбросил ее к более элементарным формам быта и подготовил Средние века. Защита империи от напора с севера и востока, которую так обдуманно вел Марк Аврелий, следуя и здесь своим предшественникам, становится задачей все менее посильной для Римского государства. Реформы Диоклетиана и Константина восстанавливали столь расшатанный государственный порядок, но какое расстояние отделяет этот бюрократический деспотизм от представлений о властителе как служителе общего блага — представлений,

¹ Римский мир (*лат.*).

которые мы найдем у Марка Аврелия. Его дело было разрушено, и не без основания в глазах Ренана день смерти Марка Аврелия является «решительным моментом, когда определена была гибель старой цивилизации», которая, казалось, еще носила в себе столько жизненных сил. Было что-то символическое в самой семейной судьбе императора.

Но Марк Аврелий-император был все же лишь случайностью, которая выпала на долю Марка Аврелия-мыслителя. Истинное содержание его духовной жизни, которое открывается в «Размышлениях», сосредоточивалось всегда вокруг сущности и судьбы человеческой души, ее отношений к космосу, к божественному провидению. И можно сказать, в этих «Размышлениях» преодолевается указанный выше исторический трагизм. Что значит жизнь империи, противопоставленная жизни космоса, что значат исторические заблуждения, ошибки, даже преступления, если над всем господствует необходимость и эта необходимость есть в то же время провидение? Эти мысли не приводили ни к равнодушию, ни к бегству от обязанностей, но создавали перспективу, которая соединяла благородного римского императора со всеми последующими веками. Дело государственного строительства и государственной защиты было разрушено, но остался строй мысли, обращенный к душе, миру и богу, остался и окрыляющий эти мысли пафос: им не грозит уничтожение, ибо человечество никогда не разучится их понимать. На них лежит печать вечности, как она лежит на еврейских пророках, несмотря на политическую катастрофу, постигшую еврейский народ, на греческих трагиках, несмотря на гибель эллинского полиса.

Марк Анний Вер, ставший впоследствии, после того как Антонин усыновил его, Марком Аврелием Антонином, родился в 121 году. Его отец умер в весьма юном возрасте, и главная забота о воспитании Марка пала на его деда Анния Вера, который был дважды консулом и, по-видимому, пользовался расположением императора Адриана, состоявшего

с ним в отдаленном родстве. Автор «Размышлений» был всегда проникнут чувством благодарности к людям, которым он считал себя обязанным, и нас не может удивлять, что первые строки этих «Размышлений» посвящены его деду, отцу и матери: «Деду Веруя обязан уравновешенностью и незлобивостью; славе родителя и оставленной им по себе памяти — скромностью и мужественностью; матери — благочестием, щедростью и воздержанием не только от дурных дел, но и от дурных помыслов и сверх того простым образом жизни, далеким от всякой любви к роскоши». В этой семейной среде получил Марк Аврелий и первые представления об обязанностях правителя, о праве и свободе граждан; он вспоминает о брате Севере, который познакомил его с жизнью Траезия, Гельвидия, Катона, Диона и Брута и дал ему идеал государства, с равным для всех законом, и идеал царя, заботливо хранящего свободу подвластных. Республиканские традиции были живы в этой семье, несмотря на ее близость к престолу Цезарей. Но в еще большей степени Марк Аврелий чувствовал подобную благодарность к своим учителям. Важнее всего — личное влияние и общение с учителем: оно гораздо более достижимо при семейном воспитании, чем в школе, и Марк Аврелий считал себя счастливым, что в детстве и юности он не посещал школ, а пользовался уроками учителей дома (1, IV)¹. Он получил обычное грамматическое и риторическое образование, которое дало ему ихоросшее знакомство с греческой литературой, сказывающееся и в «Размышлениях», — с Гомером, быть может, Гесиодом (11, XXXII), Софоклом (11, VI), Еврипидом, Аристофаном (7, XXXVIII и др.) · Без сомнения, эти уроки оказали влияние и на его стиль, отмеченный глубоким чувством меры: как мало расточителен он на метафоры и образы и какой содержательной, выразительной оболочкой мысли служит этот стиль. «Расстаться с жизнью так же легко, как легко падает

¹ Здесь и далее в скобках обозначены главы (римские цифры) из книг (арабские цифры) «Размышлений» Марка Аврелия.

созревшая олива, благословляя природу, которая ее породила, и благодаря дереву, которое ее произвело» (4, XLVIII). «Люди убивают, рвут на части, преследуют проклятиями. Но чем это может помешать мысли остаться чистой, рассудительной, благоразумной, справедливой? Так, если кто-нибудь, подойдя к прозрачному и свежему роднику, станет изрыгать на него хулу, родник все же не перестанет бить ключом питьевой воды. И пусть подошедший даже бросит в него грязью или навозом, родник очень скоро все это рассеет, смоем и не замуется. Когда же ты будешь обладать этим вечно текущим источником?» (8, LI). Насколько увлекался сам Марк Аврелий в своей юности уроками риторики, можно видеть из его писем к Фронтому, который, впрочем, имел огорчение видеть, как у его питомца это увлечение уступило место более глубокой страсти — к философии. Впоследствии он считал возможным даже благодарить богов, что не сделал больших успехов в риторике и поэтике, которые могли бы полонить его внимание и силы и отвлечь от философии.

Читая прославления философии у Марка Аврелия, мы всегда должны помнить, какое место она занимала в культурном обиходе Римской империи. Она должна была как бы заменить ту «древнюю доблесть», которая считалась достоянием исконного нравственного уклада, но которая, по общему признанию, могла сохраниться лишь при безвозвратно утраченной простоте и элементарности жизни. Философии предназначалось руководство нравственной жизнью отдельного человека и целого общества; с другой стороны, она выполняла как бы функции религии, сама отделяясь от последней все менее и менее явственной чертой. Поскольку религия продолжала охранять и освящать данный государственный порядок, она сосредоточивалась в культе императоров — здесь рядом с личным облагодетельствием, имевшим столько образцов в греческом мире, содержался апофеоз государства. За пределом этого политического исповедания оставалась область возрастающего религиозного

синкретизма: греко-римский пантеон постоянно заслонялся восточными образами, и культ населения империи, начиная с Рима, как нельзя более отражал ее этнографическую и культурную пестроту.

Вместо национальных религий, имевших строгую обособленность, образуется космополитическая религиозная среда, среди которой так легко создается представление, что разнообразные имена и образы богов, своеобразные их культы суть лишь внешняя оболочка, скрывающая единую истину. «Фригийцы, — говорит в «Золотом осле» Апулея своему поклоннику Исида, — древнейшие из всех народов, называют меня матерью богов и Пессинунтскую богиней; афиняне — кекропской Минервой; жители острова Кипра — пафосской Венерой; критяне, искусные в метании стрел, — Дианой-охотницей; сицилийцы, говорящие тремя языками, именуют меня стикской Прозерпиной; элевсинские жители — древней богиней Церерой; иные называют меня Юноной, другие Беллоной, иные Гекатой, другие Немезидой; но эфиопы, озаряемые всегда первыми лучами восходящего солнца, и египтяне, самые древние и самые мудрые из людей, почитают меня точным и собственным моим именем, то есть богиней Исидой, и только они истинно и праведно служат мне перед алтарями».

Там, где религиозный образ не берется в его непосредственном виде, там открывается путь для символического истолкования, как это мы видим в истории всех религий, и в таком истолковании всегда есть и элемент философский. Уже ранний стоицизм Зенона, Клеанфа и Хрисиппа широко применял метод аллегорического объяснения мифов, причем Кронос и Рея оказывались временем и материей, Гефест — огнем, Аполлон и Артемида — солнцем и луной, и т. и. Но чем больше в стоической философии моральные интересы получали преобладание, тем менее уже можно было довольствоваться чисто натуралистическими истолкованиями. У Сенеки, Музония и особенно у Эпиктета мы уже видим

прежде всего стремление раскрыть внутренний нравственный смысл религии: и самая стоическая доктрина принимает известный религиозный характер. Гастон Буасье в своей монографии о римской религии изображает резкий контраст между римским обществом конца Республики, полным равнодушия и скептицизма, для которых лучшим историческим свидетельством являются письма Цицерона, и обществом времен Антонинов с его глубоким тяготением к религии, культу, положительной вере. Стоическая философия преобразовывается в соответствии с этими потребностями. Позже и она оказывается слишком интеллектуалистичной, слишком много предоставляющей логическому разуму; ее место займет неоплатонизм с его возвеличением мистического экстаза; но во дни юности Марка Аврелия в образованных кругах голос стоической философии, как религиозно-моральной законодательницы, звучал еще громко и авторитетно, и ее не могли дискредитировать едкие насмешки в лукиановском стиле. Употребляя выражение, столь обычное в католической церкви, можно сказать, что стоицизм притяжал на «попечение о душах» (*cura animarum*), и эти притязания признавались законными. Философ обращался в проповедника; проповедник не довольствовался ролью популярного риторика и стремился быть реформатором нравственности. Стоя у изголовья умирающего, провозжая осужденного на казнь, он умел разгонять страх смерти, давать душе мир и утешение; он же умел проникать в дома высшей аристократии, во дворцы цезаря, брал в свои руки воспитание детей его, как это впоследствии с таким несравненным искусством научились делать иезуиты. Можно было бы говорить о своеобразном идеале стоической теократии как духовного правления обществом — что иное стояло в центре забот Григория VII и Иннокентия III? — если бы не чувствовались искусственность и парадоксальность в употреблении слова «теократия» там, где нет церкви и нет определенного исповедания. Насколько широко могло в эту эпоху осуществляться влияние стоицизма, лучше всего показывают

дошедшие до нас сведения о таких его народных учителях и проповедниках, как Демонакс и Дион Хризостом.

Эта религиозно-нравственная сторона стоицизма произвела наиболее сильное впечатление на Марка Аврелия. Он узнал ее в особенности от Юния Рустика, которому он выражал признательность в своих «Размышлениях» (I, VII) за то, что не увлекся теоретическими спекуляциями, и за знакомство с Эпиктетом. В этом смысле Марк Аврелий является весьма ярким представителем позднейшего стоицизма, для которого физика и логика совсем заслоняются этикой. Он готов благодарить богов за то, что не погрузился ни в силлогизмы, ни в исследования небесных явлений. Правда, он в то же время советует постоянно применять учения не только этики, но и физики и логики (8, XIII), но едва ли сам следовал данному совету. Не видим мы у Марка Аврелия интереса к положительной науке: он не знает того, что мог бы знать современник Птолемея и Галена. Но здесь уже сказалась одна из самых роковых черт в истории этих последних веков античной цивилизации — полный разрыв религиозно-моральных интересов и научной любознательности, полное забвение в этом смысле аристотелевской традиции. Так подготовялось то несколько преувеличенное в традиционном изображении, но все же достаточно поразительное научное бесплодие европейского Средневековья.

Но если эти уроки философии были односторонни в смысле умственной пищи, они могущественно влияли на волю и характер впечатлительного ученика. Желая освободиться от потребностей, он, несмотря на довольно неустойчивое здоровье, вел самый суровый, аскетический образ жизни, спал на голых досках, и только неотступные просьбы матери побудили его смягчить режим и положить на свое жесткое ложе звериную шкуру. В своих сношениях с людьми он отличался исключительной правдивостью, которая давала повод императору Адриану, допуская игру

слов, называть его не «*Verus*», а «*Verissimus*»¹. Но этот аскетизм и эта личная нравственная строгость не лишали его понимания и интереса к той государственной жизни, в которой ему предстояло играть столь ответственную роль. Последнюю определило решение императора Адриана, который усыновил и назначил своим преемником Антонина Пия, с тем чтобы Антонин, в свою очередь, усыновил Марка Вера. Император, очевидно, хотел создать известную форму наследственной передачи власти, которая могла бы обеспечить до некоторой степени государственный порядок, нарушаемый преторианскими переворотами: усыновление же, по римскому взгляду, было всецело равнозначуще естественному происхождению. Из намеков христианской апологии Афинагора, обращенных к Марку Аврелию и Коммоду, можно думать, что и сам император Марк Аврелий в установленном престолонаследии видел важное преимущество для государства, ради которого он был готов признать своим преемником Коммода. Это решение Адриана искупало много грехов, которыми были омрачены последние годы его царствования; оно было осуществлено за несколько месяцев до смерти императора — короткий срок, в течение которого его симпатия, вообще непостоянная, не могла измениться.

Марку Аврелию было 17 лет, когда императорский престол занял Антонин Пий. Симпатичный образ этого императора, сохранившийся в источниках, находит полное подтверждение в словах самого Марка Аврелия, для которого Антонин навсегда оставался наставником политического искусства и политической морали. Изложив все, чем он обязан Антонину, автор «*Размышлений*» еще возвращается к нему и в своей к нему близости видит особую милость богов: «Их я должен благодарить и за то, что мною руководил властитель и отец, который стремился искоренить во мне всякое тщеславие, внушал мысль, что,

¹ *Verus* — истинный, правдивый; *verissimus* — правдивейший (лат.).

и живя при дворе, можно обходиться без телохранителей, без факелов, статуй и подобной показной роскоши, но вести жизнь весьма близкую к жизни частного человека и при этом не относиться более пренебрежительно или легкомысленно к обязанностям правителя, касающимся общественных дел». В свою очередь Антонин платил ему полным доверием. Немедленно по вступлении на престол он сделал его сотоварищем по консульству и вообще дал ему положение соправителя, дал возможность разделить все труды и всю ответственность власти. Здесь не было и тени той подозрительности, которая часто проявлялась в Риме у императоров к их предполагаемым преемникам. Несомненно, Антонин показал Марку Аврелию, что возможно обладать высшей государственной властью, не искажающей ни в чем нравственной природы властителя, и для него стало идеалом остаться частным человеком на престоле, выполняя в то же время с полной добро-совестностью свои государственные обязанности. Все эти отношения закрепились были браком Марка Аврелия с Фаустиной, дочерью императора, которая, однако же, мало была похожа на своего отца и еще меньше подходила к духовному облику мужа. Брак сделался для Марка Аврелия источником тяжелого семейного положения, которое было ясно его современникам, хотя сам он переносил его с великодушием и всепрощением. Тяжесть особенно усугубилась, когда стал подрастать сын Коммод, представлявший, несмотря на физическое сходство, такой явный контраст Марку Аврелию — контраст, который даже породил легенду, будто он сын гладиатора. Может быть, здесь сказалось инстинктивное возмущение против каприза наследственности, который, однако, был достаточно знаком римлянам, сложившим пословицу: «Pater egregius filius gregarius»¹. Впрочем, Коммод далеко не был «gregarius» — заурядным: на нем лежала печать какого-то вырождения.

¹ Отец выдающийся, сын заурядный (лат.).

Таким образом, для Марка Аврелия переход к императорской власти не представлял чего-нибудь особенного, не являлся переломом в его внутренней и даже внешней жизни. Он не захотел быть даже единоличным правителем и взял в сотоварищи своего приемного брата Луция Вера, также получившего титул Августа. Последний, однако, при своем бездеятельном и распущенном характере не оказывал императору никакой помощи и нередко оказывался существенной помехой в делах; впрочем, и к нему Марк Аврелий относился со своим обычным неистощимым терпением и снисходительностью.

Насколько Марку Аврелию удалось применить те высокие морально-политические принципы, которые мы находим в его «Размышлениях»? Мы знаем, что к подобным произведениям нужно относиться с крайней осторожностью. В какие ошибки попал бы историк, если бы он принял за чистую монету все содержащееся в «*Antimachiavel*»¹ Фридриха II или в «Наказе» Екатерины II и увидел бы в них как бы программы их деятельности! Иное впечатление получаем мы от Марка Аврелия: здесь философия не расходится с текущей работой, и опыт императора ни в чем не опровергает самых продуманных и прочувствованных его мыслей. Поэтому о царстве философии здесь можно говорить совсем с иным правом, чем по поводу представителей просвещенного абсолютизма XVIII века. Важно не то, что Марк Аврелий окружил себя философами-риторами, что он сделал государственными людьми своих старых наставников, что среди консулов и проконсулов его царствования мы находим Ирода Аттика, Фронтон, Юлия Рустика, Клавдия Севера, Прокула. Важнее, что в его собственном сознании между философией и жизненной практикой не существует никакого антагонизма. Тезис, гласящий, что философское исповедание может ни к чему не обязывать, представился бы ему чудовищ-

¹ «*Антимакиавелли*» (фр.) — философское сочинение прусского короля Фридриха II, написанное в 1739–1740 гг.

ным. В этом смысле Марк Аврелий скорее может напоминать о деятелях средневековой теократии, для которых *temporalia*¹ отнюдь не должно расходиться со *spiritualia*². Известно, какие неразрешимые конфликты возникали на этой почве между убежденными требованиями церкви и инстинктом самосохранения у светского государства.

Но здесь и раскрывается одна из самых замечательных сторон личности Марка Аврелия: он как нельзя более далек от всяких утопий, он сознательно их отвергает. Философия остается законом жизни, но философ должен понимать все несовершенство человеческого материала, всю крайнюю медленность усвоения людьми высших моральных и интеллектуальных истин, всю громадную силу сопротивления, заключающуюся в историческом быте. Нельзя насильственно обновить мир, ввести совершенный порядок, ибо никакой властитель не властен над мыслями и чувствами людей. Трагизм здесь лежит в роковом несоответствии между высотой настроения того, кто желает быть благодетелем человечества, и прозаичностью итогов. «Всеобщая причина есть как бы стремительный поток: он все уносит с собой. Как жалки все эти преисполненные самомнения люди, мнящие, что они по-философски ведут дела государства!.. Чего ты хочешь, человек? Делай то, чего от тебя требует в настоящее время природа. Не надейся осуществить республику Платона и будь доволен движением вперед хотя бы на один шаг — и не считай этот успех маловажным. Кто может изменить образ мысли людей? А без такого изменения что может быть, кроме рабства, стонов и лицемерного повиновения?» (9, XXIX). Не чувствуется ли в этих словах самая высшая форма бескорыстия, непонятная для фанатиков прогресса, какими бы благородными мотивами они ни руководились? «Блаженны не видевшие и уверовавшие», — говорит Евангелие. Блаженны те, кто, никогда не забывая о пределах,

¹ Светское (лат.).

² Духовное (лат.).

поставленных человеческой природе, никогда не обольщаясь возможностью их перейти, находят в себе силу неустанно работать для приближения к никогда не осуществимому идеалу.

Деспотизм отвлеченной формулы был Марку Аврелию чужд, как всякий деспотизм. Можно сказать, ему присущ ужас афинского или римского республиканца перед тиранией. Он чувствует себя глубоко признательным своему наставнику Фронтону, который показал ему, сколько низости, коварства и лицемерия заключается в тиранической власти. «Не иди по стопам Цезарей», — предостерегает он самого себя (6, XXX). Он не скрывал от себя моральные опасности, угрожавшие повелителям Римской империи, — опасности, жертвами которых пали Нерон и Домициан, и как ни выделялся для него Антонин своими добродетелями, двор, окружавший последнего, был в его глазах лишь повторением двора Филиппа, Креза, всех других Цезарей (10, XXVII).

Была ли в глазах его республика высшей формой по сравнению с монархией? По общему смыслу «Размышлений» можно думать, что самое различие этих форм не представлялось ему особенно существенным. Монархия оправдывается, когда монарх видит в себе вождя людей и в то же время человека: Марк Аврелий предпочитает сравнивать его не с пастухом — это предполагало бы притязание на высшую породу, — а с бараном или быком, которые идут впереди стада.

Практически это сказывалось и в постоянном стремлении императора хранить остатки республиканского строя. Он усердно посещал заседания Сената и оставался там, пока консул не произносил обычной формулы: «*Nihil vos moratur, patres conscripti*»¹, закрывавшей заседание. Конечно, это были лишь символические акты, не способные изменить того, что для самых упорных республиканцев

¹ «Мы вас больше не задерживаем, отцы-сенаторы» (лат.).

стало очевидной политической реальностью. Речь могла идти в конце концов лишь о том, в какую сторону направится деятельность государства, приводимого в движение единоличной волей.

Здесь Марку Аврелию не требовалось прокладывать новых путей. Уже Нерва и Траян положили основы общественной благотворительности, уже они в своем законодательстве признали принцип, в силу коего у государства есть отеческие обязанности относительно своих сочленов. Этим окончательно устранялось столь живучее в Риме представление о верховенстве рода и семьи. Так, при Траяне созданы были фонды, предназначенные на покрытие издержек по воспитанию бедных детей; Марк Аврелий расширил полномочия заведующих этими фондами прокураторов и сделал эти прокуратуры одной из высших должностей в империи; не остановился он и перед крупными издержками фиска, создавая ряд своеобразных касс для помощи детям обоюго пола. Римские барельефы на Форуме напоминают об учреждениях, имеющих в виду призрение девочек, — учреждениях, созданных при Антонине и расширенных при Марке Аврелии. Последний создал даже особую должность претора, имеющего блюсти интересы детей-сирот.

Это внимание к ребенку, идущее рядом с расширением прав женщин, является лучшим показателем нового духа, который проникает законодательство империи.

Не менее чувствуется он в другой сфере — в признании и охране прав раба: говорить о праве здесь, конечно, можно лишь в моральном, не юридическом смысле — в последнем раб не мог быть субъектом права. Но это не мешало законодательству Римской империи обеспечивать его личность от посягательства на жизнь и честь, от жестокого обращения, обеспечить целостность его семьи, неприкосновенность его *пекулиума*¹, существенно ограничить, если не устранить,

¹ *Peculium* — личное имущество раба (лат.).

его продаже для борьбы со зверями в амфитеатре и, наконец, всячески облегчать и поощрять отпущение на волю. Марк Аврелий предоставил рабам возможность в известных случаях наследовать после своих господ. Значительно улучшилось также прежде весьма прекрасное положение вольноотпущенников.

Император вдвойне чувствовал себя призванным сохранять этот путь — как наследник и ученик человеколюбивого Антонина и как исповедник стоической философии, ибо стоицизму обязано римское право тенденцией к защите всякой человеческой личности, к осуществлению начал равенства. Эта философия поднялась над ограниченностью племенной и социальной и возвысилась до общечеловеческого. Из нее римские юристы почерпнули убеждение, что рабство нарушает естественное право, — убеждение, которое так далеко отстоит от взглядов Платона и Аристотеля. Императорам II века принадлежит заслуга укрепления и проведения в жизнь этого нового понимания, которое не будет утрачено среди политической и моральной анархии III века. Так и движение в сторону гражданского равноправия не в состоянии остановить пороки и преступления руководителей римской государственной жизни, и знаменитый эдикт 212 года, давший, правда по мотивам фискальным, равноправие всем свободным обитателям империи, связан с именем Каракаллы, одного из худших императоров, которого вообще имел Рим.

Можно прибавить здесь заботы Марка Аврелия о более правильной раздаче продовольствия народу — об этой своеобразной государственной функции, которая едва ли может быть правильно оценена, когда мы к ней прикладываем столь ей далекие социально-политические критерии современности, старания улучшить административный и судебный механизм. Незначительный успех этих последних стараний часто приводили в доказательство государственной неспособности императора. Задача организовать мест-

ное управление оказывалась, однако, не под силу и таким людям, как Траян. Впоследствии она была выполнена путем энергичной бюрократизации империи и прикрепления куриалов¹, для которых почетное право стало тяжелой обязанностью.

Но, разумеется, идти по этому пути, который так ярко запечатлелся в *Codex Theodosianus*², Марк Аврелий не желал. В принуждении он всегда видел лишь необходимое зло, которое должно быть употребляемо в возможно малых дозах. Бессильный перестроить римскую государственность, он стремился несовершенство законов и учреждений возместить мягкостью режима. Император, в своих «Размышлениях» выразивший глубокую уверенность, что искренняя доброта непреодолима, и здесь не давал слову расхотиться с делом. Даже когда Авидий Кассий³ поднял против императора восстание, обманувши то доверие, которое неизменно ему оказывал Марк Аврелий, несмотря на многократные предостережения, — даже тогда последний ни в какой мере не поддавался чувству гнева или мести. Он не мог предупредить убийства Кассия, но он дал полную амнистию его сторонникам. Город Антиохия за участие в восстании потерял лишь на короткое время право публичных игр.

Это была мягкость, которая могла казаться слабостью. История возмущения Кассия показывает, однако, что она оказалась целесообразной и содействовала умиротворению империи. Во всяком случае, она не имела ничего общего с повторяющимся столько раз типом бесхарактерного добродушного монарха, который являлся игрушкой в руках своих приближенных. Марк Аврелий вел эту политику великодушия

¹ В Древнем Риме — члены городских советов.

² Свод ранневизантийского права, изданный при императоре Феодосии II в 438 г.

³ Авидий Кассий (ок. 130–177) — полководец Марка Аврелия, поднявший бунт против императора в 177 г. Попытка Авидия Кассия захватить власть окончилась неудачей.

вполне сознательно, с полным чувством ответственности, не делая себе никаких иллюзий относительно нравственных качеств окружающей среды.

Именно эти основные черты его мировоззрения и господствующее в нем настроение ставили определенные границы его преобразовательной деятельности. Здесь особенно характерно его отношение к играм амфитеатров. Как относился к ним император, об этом мы могли бы догадаться, если бы даже в «Размышлениях» не было рассеяно соответствующих намеков. У него могло оставаться лишь чувство отвращения — и, однако, он не уничтожил этих игр, он их даже посещал. Правда, он почти старался показать, что кровавое зрелище его не интересует, — он в цирке читал, писал, давал аудиенции. Но не было ли здесь странной двойственности? Уолтер Патер, давший в «*Marius the Epicurean*»¹ такое психологически замечательное изображение духовной атмосферы эпохи, заставляет своего героя видеть в амфитеатре императора, погруженного в чтение, равнодушного к проливаемой крови и раздающимся стонам: здесь Марий впервые чувствует бессилие стоицизма удовлетворить высшим требованиям человечности, здесь в его душе совершается перелом, который приведет его под сень новой веры, дающей силу сострадать и любить... Мы понимаем, как переживает эту сцену Марий, — но правильно ли он истолковывает видимое холодное равнодушие императора? Надо помнить, какое здесь он встречал сопротивление. Когда Марк Аврелий отправил на войну гладиаторов, это вызвало почти возмущение: «Он хочет отнять у нас развлечения и заставить нас философствовать». Он мог только добиться, чтобы под канатом, по которому ходили акробаты, разостланы были матрасы и чтобы оружие борцов имело притупленное острие; он не мог победить жестокой страсти римского населения.

¹ «*Марий-эпикурец*» (англ.) — философский роман британского писателя Уолтера Патера, опубликованный в 1881 г.

Едва ли он ее преувеличивал — достаточно вспомнить, как трудно было искоренять эти игры уже в христианской империи IV века.

Главное содержание царствованию Марка Аврелия дали, однако, его труды по защите империи. Не было чувства, более ему далекого, чем стремление к военной славе. В осуждении ее он идет не менее далеко, чем Тертуллиан и другие христианские писатели. «Паук гордится, если захватил муху, другой — если поймает зайца, третий — если уловит в сеть рыбешку, четвертый — если овладеет вепрем, пятый — сарматом; а если исходить из принципов, что они как не разбойники?» (10, X). «Что значит слава Александра, Гая, Помпея перед лицом Диогена, Гераклита, Сократа?» (8, III). Его пренебрежение к военной славе, однако, совершенно не похоже на эротический, изнеженный пацифизм Тибулла и на мечтания Вергилия о золотом веке. Пребывание на войне только тяготило его, но к делу защиты государства он относился со всем вниманием и добросовестностью. Войну с парфянами вел Луций Вер, но роль этого распущенного и бездеятельного человека, не способного дисциплинировать ни себя, ни других, едва ли не была номинальна. Главная тяжесть упала на его помощников, назначенных Марком Аврелием, который не делал себе иллюзий относительно способностей Луция Вера, — и выбор командующего состава, за исключением, может быть, Авидия Кассия, талантливого, но честолюбивого и недостоверного, оказался блестящим. Опасность на востоке была устранена.

Серьезнее она была на Европейском Севере и Северо-Востоке. Значение германского мира, расстилающегося у границ Римской империи, было оценено Тацитом. Пока эти народы пребывали во взаимной раздробленности, их можно было не замечать, но как только из них образовались большие сплоченные союзы, все политическое равновесие римского мира нарушалось.

С одним из таких союзов, сложившимся в Богемии, Моравии и Северной Венгрии и приведшим в движение германские и негерманские племена, которые двинулись на юг от Дуная, прямо угрожая империи, пришлось иметь дела и Марку Аврелию. Значительная часть его жизни прошла на берегах Дуная, в борьбе с маркоманами и квадами. План кампании был чрезвычайно продуманный и в конце концов увенчавшийся успехом: это была тактика, рассчитанная на выносливость и упорство римского солдата, методическая, медленная, не гонящаяся за блестящими победами и построенная на строгой экономии силы. Паннония была очищена, варвары прогнаны на левый берег Дуная. В то же время Марк Аврелий избегал всякой бесполезной жестокости, всякого вероломства и относительно врагов; не видел он опасности и в известном проникновении германцев на римскую территорию, полагая, что эти романизированные варвары явятся лучшей защитой против грядущих нашествий. Он в широких размерах допустил германцев в римские легионы, дал им на известных условиях земли в Дакии, Паннонии, Мезии, Римской Германии и оставил в то же время достаточную военную силу на Дунае, которая могла бы отразить посягательства на территорию и пределы империи. Проникнутый стоическим универсализмом, он не чувствовал какого-либо предубеждения против варварских народов; скорее, можно заметить ноты насмешки и раздражения в отзывах об Азиатском Востоке. Мысль влить в организм Римской империи свежие соки этих народов, которых Тацит хотел поставить как образцы современному обществу, — подобная мысль была достойна великого и проницательного ума, но и этот ум не мог бы предвидеть, как быстро пойдет эта инфильтрация и как мало способности сопротивления заключала в себе римская культура.

Памятником этих походов императора остается колонна, украшающая до сих пор пьядца Колонна в Риме; Сикст V поставил на верх ее статую апостола Петра, но барельефы,

изображающие военные сцены, сохранились хорошо. Более, однако, чем эти барельефы, уже отмеченные чертами артистического упадка, о годах, проведенных императором на берегах Дуная, напоминают «Размышления». Там, среди вечерних досугов, написана часть их. Они открывают нам прежде всего то глубокое чувство одиночества, которое должен был испытывать их автор, оторванный от общества людей, с которыми он мог бы разделить свои самые дорогие мысли, и не менее глубокое сознание долга, которое заставляло его посвящать всю энергию внутренне столь чуждому для него делу

Этот гармонический образ, который создается при сопоставлении внутренней работы с внешней историей жизни, не роднит ли Марка Аврелия с идеалами, которые приносила античному миру новая, уже столь могущественная в конце II века сила — христианство? Мы знаем, что в христианской традиции замечается стремление, так сказать, приблизить к себе великого язычника, смягчить или даже затушевать факты, свидетельствовавшие о его враждебном настроении, противопоставить им другие. Пусть Марк Аврелий преследовал христиан; христианские авторы не хотели накладывать на него клеймо гонителя. «Великий и добрый» — так называет его христианский автор сивилиного стиха, живший в III веке. «Справьтесь с вашими анналами, — убеждает Тертуллиан римских магистров, — вы увидите, что монархи, которые свирепствовали против нас, принадлежали к числу людей, гонения со стороны коих могут служить только к чести гонимых. Наоборот, из всех монархов, которые признавали божеские и человеческие законы, назовите хотя бы одного, который бы гнал христиан. Мы же можем привести в пример одного из них, который объявил себя нашим покровителем, — мудрого Марка Аврелия. Он не отменил открытых эдиктов, изданных против наших братьев, но он уничтожил их последствия, установив суровые казни, угрожающие нашим обвинителям». Наконец,

Мелитон, епископ Сардский, обращаясь в своей апологии прямо к императору и напоминая ему о гонениях Нерона и Домициана и о терпимости Адриана и Антонина, прибавляет: «Что касается до тебя, ты имеешь к нам те же чувства (как Адриан и Антонин), но обладаешь еще более высокой философией и филантропией; мы уверены, что ты сделаешь все, что мы у тебя попросим».

Здесь, естественно, вспоминается легенда, связанная с одним из драматических эпизодов похода против квадов. Армия оказалась отрезанной от источников питьевой воды; истощенная жаждой и усталостью, она очутилась в месте, где варвары могли легко ее уничтожить. Римлянам угрожала катастрофа, которая по своим последствиям была бы гораздо более для них роковой, чем гибель Вара, как вдруг разразилась буря, на римское войско хлынул благодатный дождь, освеживший солдат, а в сторону варваров пошел сильнейший град и стала ударять молния, так что ими овладела полная паника. Это было чудо, по обычной версии, обязанное молитвам Марка Аврелия, воздействовавшим на Юпитера. На римской колонне мы видим, как «дождливый Юпитер» (*iupiter pluvialis*) напояет римлян и поражает варваров.

Другое, менее распространенное предание приписывает чудо египетскому магу Арнуфу, который заклал Гермеса. Наконец, версия, принятая значительной частью христианских писателей, утверждает, что римская армия была спасена молитвами коленопреклоненных воинов-христиан — их Бог, а не Юпитер послал бурю; при этом прибавлялось, что пораженный чудом Марк Аврелий написал письмо Сенату с воспрещением всяких преследований против христиан.

Эта тенденция христианских историков и апологетов далеко расходится с истиной: Марк Аврелий никогда не был другом христиан. Единственное место в его «Размышлениях», где упоминается о христианах, показывает, что он оставался холодным перед их готовностью принять

мучение и смерть за свое исповедание; в этой готовности он усматривал даже нечто суетное и театральное (11, III). Не может быть также и речи об отмене прежде действовавших и направленных против христиан законов — прежде всего закона о *collegia illicita*¹. Наконец, не подлежит сомнению, что его царствование было запятнано актами кровавого преследования христиан. Достаточно вспомнить здесь героических мучеников Лионской и Вьеннской церквей — одно из наиболее потрясающих событий из истории раннего христианства. Правда, инициатива здесь шла не от императора, а от местных властей и местного же населения. При громадности и физической децентрализации империи участь христиан вообще зависела прежде всего от местных исполнителей закона — и мы видим, как одни провинции могли пользоваться полным религиозным миром, тогда как в других происходили жестокие гонения.

Однако нельзя отрицать всякое участие Марка Аврелия в деле лионских христиан. Его легат обращался к нему с вопросом, и ответ императора был более жесток, чем аналогичный ответ Траяна на запрос Плиния. Марк Аврелий предписывал освободить всех ренегатов и предать смерти упорствующих. Едва ли в этом случае есть основание не доверять церковной традиции, хотя отвратительная сцена жестокости, разыгравшаяся при казни, не могла быть отнесена к желаниям императора. Также и Малая Азия при Марке Аврелии обогрилась кровью христианских мучеников, а знаменитый Поликарп, епископ Самосский, кончил жизнь на костре. Можно, конечно, сослаться на различные апологии, которые подавались императору и которые как будто показывали, что известная терпимость существовала — мыслима ли была бы пробная апология от имени

¹ *Недозволенная коллегия* (лат.) — т. е. собрание, имеющее преступный характер; в первые века нашей эры к числу таких собраний относились и любые собрания христиан.

какой-нибудь признанной ереси, обращенная к инквизиции! Но если авторы апологий, подобно Мелитону и Афиногору, не подвергались преследованиям, они не могли бы похвалиться и каким-либо успехом.

Объяснить это отношение Марка Аврелия не представляется трудным. Нужно ли прежде всего напоминать, что последовательная и полная терпимость есть чуть ли не самое редкое явление в человеческой истории? И это если даже оставить в стороне религиозные организации, построенные на принципе преемства и авторитета, забыть о клерикальных и антиклерикальных ненавистях. В свое время Локк дал не менее блестящую защиту свободы религиозной, чем свободы политической, и все-таки он не распространял терпимость на католиков и атеистов. Можно сказать, у английского мыслителя мы совсем не видим фанатизма: в католиках он видел прежде всего исконных врагов протестантской Англии, ее государственности и национальности, в атеистах — людей, лишенных той санкции, которая одна в состоянии обеспечить нравственный образ мыслей и действий. Но никаких следов фанатизма, какой-либо политической или религиозной ненависти мы не находим и у Марка Аврелия. Именно христианам он ставит в вину фанатизм, тем более предосудительный, что он соединен с тщеславием и страстью к эффектам. Он не понимал христианских мучеников, но их не понимал и Эпиктет; и для него здесь был лишь ожесточенный фанатизм. В глазах императора христиане — люди суеверные, без умственной любознательности и нравственного достоинства; они к тому же для поверхностного взгляда даже в конце II века могли казаться разновидностью иудаизма, а к евреям, по свидетельству Аммиана Марцеллина, император относился с брезгливой враждебностью. Можно сказать, что вообще в наплыве и распространениях восточных культов Марк Аврелий, совершенно непохожий здесь на Адриана, видел моральную опасность и вред.

Всех этих антипатий было бы, очевидно, недостаточно, чтобы императору изменила его обычная снисходительность к заблуждающимся. Против христиан действовал он или, во всяком случае, не останавливал действий местных властей как ответственный руководитель Римского государства. Христианство посягало на религиозные устои этого государства, которые трудно было бы отделить от политических — его исповедники отказывались принять участие в официальном культе. Пусть христианские апологеты доказывают, что их единоверцы — добрые граждане, исполняющие все обязанности, что они молятся за императора и за процветание империи, — в глазах представителей римской государственности, и притом чуждых вульгарным предрассудкам, они оставались инородным телом. Можно сказать, применяя понятие, которым так злоупотребляли в защите клерикальной и антиклерикальной нетерпимости, христианам ставилось в тяжелую вину нарушение морального единства; а так как заботы о последнем легче было встретить у лучших, чем у худших императоров, то и среди преследователей христианства, вопреки апологиям, мы видим далеко не только Неронов и Домицианов, как и самая терпимость к нему являлась часто плодом простого равнодушия. В этом смысле сирийские императоры III века, сами чуждые римской государственной традиции и политическим предрассудкам, могли проявить гораздо большую широту, чем Траян и Марк Аврелий, могли, подобно Александру Северу, ввести Основателя христианства в избранный ими пантеон культов.

Несомненно, однако, что Марк Аврелий заблуждался здесь и политически. Внутренний процесс, переживаемый христианской Церковью и общинами, приближал их к примирению с империей, а не отдалял. Те настроения, которые отразились в Апокалипсисе, как и хилиастические¹ образы, уступают место более спокойному отношению.

¹ Хилиазм (от *грек.* *chílios* — «тысяча») — учение о предстоящем тысячелетнем царстве Божиим на земле.

В Церкви торжествует течение, враждебное крайностям, не принимающее ни эзотерической догматики гностиков, ни преувеличенного ригоризма донатистов¹. Личное озарение, пророческий дар отступили на задний план: на первый выдвигается иерархия и дисциплина. Псевдоклементины, послания Игнатия, трактаты Иринейя призывают к послушанию, верности епископам. В борьбе с ересью укрепляется епископальная организация Церкви и уже вырисовывается особый авторитет римского престола. Торжество начал организации епископского авторитета само по себе психологически разрушало непримиримость отношения к государству. Недалеко время, когда христианская община Антиохии обратится к императору Аврелиану за разрешением спора, кто является ее законным епископом. Обращенная к Марку Аврелию апология Мелитона уже предвидит союз империи с христианской Церковью, исторические судьбы коих связаны настолько крепко, что временные недоразумения не могут их разъединить. Мелитон как бы проводит реформу Константина. Можно ли было при этом, оценивая политически христианство, принимать во внимание лишь отказ принести жертву гению императора?

Но если общее направление в развитии раннего христианства достаточно выяснено исследователями XIX века, если они смогли выделить ядро тех мыслей и чувств, вокруг которых кристаллизовалось мировоззрение пастырей и пасомых, для язычников конца II века все это оставалось закрытым. Различные оттенки для них сливались в единый цвет: здесь могли разобраться только редкие специалисты, подобные Цельсу. Средний римлянин этой потребности внимательнее всмотреться в христианскую среду вовсе не

¹ *Донатисты* — раннехристианская секта IV в., основанная карфагенским епископом Донатом; члены секты были сторонниками религиозной строгости и, в частности, требовали сурового осуждения христиан-отступников, выдававших по приказу императора Диоклетиана свои священные книги для сожжения.

чувствовал, и Марк Аврелий здесь не отличался от среднего римлянина. Его философское мировоззрение давало ему как бы априорно определенную оценку христианству, в котором он видел лишь одно из многочисленных препятствий для здоровой государственной жизни.

Эти препятствия не сломили энергии императора, но еще более укрепили чувство человеческого бессилия. Тяжелее трудностей, подчас могущих казаться неразрешимыми, внутреннего устройства и внешней защиты империи, для него было сознание, что он говорит на непонятном для окружающих языке, что они им тяготятся, принимая его морально-философские интересы за несносный педантизм. В «Размышлениях» мы находим заметку о чувстве злорадства, с которым встречается смерть самого достойного человека: нельзя не видеть в ней автобиографической основы. «Никто не бывает столь счастлив, чтобы его смерть не вызвала в ком-либо из окружающих чувства злой радости. Пусть он был добродетелен и мудр; все же найдутся в конце концов какие-нибудь люди, которые про себя скажут: наконец мы можем вздохнуть свободно, освободившись от этого наставника. Правда, никто из нас от него не страдал, но все же мы чувствовали, что в душе он осуждает нас» (10, XXXVI).

Жизнь для Марка Аврелия все более становится приготовлением к смерти, которой посвящено так много места в последних книгах «Размышлений». И он встретил ее с глубоким спокойствием. В лагерной стоянке на берегу Дуная, около нынешней Вены, заболел он тяжелой болезнью, смертельный исход которой признал сразу, и уже не принимал ни пищи, ни питья. Сыну своему Коммоду он завещал окончить войну и не покидать армии; окружающим он напоминал о необходимости выполнить долг. Поручая Коммоду их заботам, он прибавил характерную оговорку: «Если тот окажется этого достойным». Было ли здесь бессознательное стремление уменьшить ответственность, лежавшую на императоре,

который признал Коммода наследником? Для Марка Аврелия монархическая наследственность могла быть лишь средством, не целью. Быть может, он и не видел вокруг себя других достойных преемников. Он представил Коммода солдатам, сохраняя спокойное выражение лица при тяжком страдании; вообще его выносливость в болезни поражала окружающих. Умер он 17 марта 180 г. совершенно один: даже сына он не допустил остаться у постели во избежание заразы.

Источники единодушно изображали скорбь армии и народа. Марк Аврелий всегда был так чужд какого-либо искания популярности; теперь обнаружилось, на каких глубоких и подлинных чувствах держалась его популярность. Он так часто в своих «Размышлениях» вскрывал всю тщету посмертной славы — теперь она была ему дана. По словам Геродиана, «не было человека в империи, который бы принял без слез известие о кончине императора. В один голос все называли его кто лучшим из отцов, кто доблестнейшим из полководцев, кто достойнейшим из монархов, кто великодушным, образцовым и полным мудрости императором — и все говорили правду». По отзыву Капитолина, «таково было почтение к этому великому властителю, что в день его похорон, несмотря на общую скорбь, никто не считал возможным оплакивать его участь; так все были убеждены, что он возвратился в обитель богов, которые лишь на время дали его земле. Когда еще не кончился торжественный обряд его похорон, Сенат и римский народ провозгласили его «богом благосклонным» (*Deus propitius*), чего не было раньше и чего не повторялось позже. Был воздвигнут в честь его храм, установлена коллегия жрецов, получивших имя Антониниев. Не только ему воздавались божеские почести, но считали нечестивцами тех, кто не имел в своем доме его изображения». Это был апофеоз совершенно иного рода, чем обычные формальные апофеозы, и он оказался много более прочным. Перед памятью Марка Аврелия благоговейно склонялись такие не похожие на него властители, как Септимий

Север, Диоклетиан и Константин. В нем видели сочетание мудрости с той правдивостью, которая способна искупить и чужие грехи. «Ты сам, — говорил Капитолин, обращаясь к Диоклетиану, — ты видишь в нем бога — и он для тебя не обычное божество; ты обещал ему особое почитание, давая обет, подражал его примерам».

* * *

«Размышления» Марка Аврелия разделяются на книги и главы — но их порядок чисто внешний. Некоторым единством обладает лишь первая книга, где Марк Аврелий вспоминает своих родных, наставников и близких людей и объясняет, чем он им обязан, заканчивая перечислением всего того, чем он обязан богам. Мы имеем своеобразный дневник — не внешних событий, а мыслей и настроений, более важных в глазах автора, чем внешние события. Можно сказать, что «Размышления» представляют полную противоположность другой книге, которая также писалась среди военных тревог, — «Запискам о галльской войне» Юлия Цезаря. Здесь заботливо устранено всякое проникновение в глубь душевных переживаний, весь интерес также исключительно поглощен объективным миром, как у Марка Аврелия миром субъективным. Цезарь преследовал цели политической апологии, хотя беспритязательность и свежесть его рассказа так хорошо скрывают его мотивы. Марк Аврелий обращался лишь к самому себе — он хотел закрепить переживания, которые могли служить моральной поддержкой и побуждением. Никогда не думал он этими строками влиять на других или исправлять их. Отсюда глубокая искренность, которая интуитивно воспринимается всяким читателем «Размышлений» и которой так недостает многим автобиографиям и исповедам, отсюда и непринужденность формы: Марк Аврелий не искал ее, как не ищут, делая пометки на полях книги. Император с благодарностью вспоминает о грамматике Александра, который научил его не выхо-

дить из себя по поводу всякого варваризма или солецизма¹ собеседника. Нет риторических забот, но выражение всегда точно и ясно передает не только мысль, но и окружающий ее душевный фон.

Отсутствию внешнего плана соответствует и отсутствие чего-нибудь напоминающего философскую систему в содержании. Весьма часто в тексте мы встречаем слово *δείγματα*², которое постоянно напоминает, насколько существенны для каждого человека эти руководящие им начала.

Как далеко, однако, это греческое слово от современного придаваемого ему значения; догматизм совершенно чужд Марку Аврелию — это черта, бросающаяся в глаза сразу. Нет ничего ошибочнее в этом смысле видеть в нем догматического последователя стоицизма.

Прежде всего прочность моральных истин не связана для него с тем или другим представлением о мире. У него нет определенной космологии — хотя бы тош которую выработал стоицизм. Он склоняется к этой последней в ее общих чертах, но достоверность ее нигде не стоит для него вровень с достоверностью нравственных начал, к которым обращается человек. Дело не только в том, что интерес Марка Аврелия сосредоточен на этих последних, как это вообще мы наблюдаем в позднейшем стоицизме, и не только в его сомнениях относительно возможности постигнуть физическую истину; для него, если даже правы не стоики, а эпикурейцы, и, если миром управляет не единый закон, а самый случай, если все сводится к игре атомов, побуждения человека к добру этим не устраняются и привязанность к миру не усиливается. Эта мысль повторяется чрезвычайно часто. «Или все происходит как бы в едином теле, беря начало в едином духе, и часть не должна роптать на то, что происходит в целом, или же существуют атомы и ничего, кроме их

¹ Неправильный стилистический или грамматический оборот.

² Образец, пример (*греч.*).

смешения и рассеяния. Что же тревожит тебя?» (9, XXXIX). «Если не атомы, то вседержительница природа» (11, XVIII). «Существуют ли атомы или единая природа — прежде всего следует установить, что я являюсь частью целого, управляемого природой» (10, VI). «Может быть, мир подвержен периодическому возгоранию (как думали старые стоики — Зенон, Клеанф, Хрисипп); может быть, он вечен и не подвержен гибели (к этому склонялись позднейшие — Зенон из Тарса, Панеций, Посидоний)» (10, VII). «Может быть, круговращение вселенной раз навсегда предопределено мировым разумом, может быть, его повторяющимися решениями; место, занимаемое человеком в мире, от этого не меняется» (9, XXVIII). Ана достоверное познание мира кто решится притязать. «Вещи настолько сокрыты от нас, что многим философам, и незаурядным, они представлялись совсем непостижимыми; и даже сами стоики признают их трудно постижимыми: всякое наше согласие с чем-нибудь не есть нечто неизменное — где можно найти человека немнявшегося?» (5, X).

Поэтому, когда в «Размышлениях» мы читаем, что «человеческому телу свойственны элементы, огненные, воздушные, водяные и земляные» (11, XX), автор пользуется лишь распространенной гипотезой, не возводя ее на степень категорической истины.

Это отсутствие догматизма освобождает от сектантского духа, от преувеличенного прославления одной философской школы за счет других. Когда Марк Аврелий находит родственные ему мысли у Эпикура, он не боится их брать, не боится и признать в представителе гедонистической философии мудрого учителя жизни (9, XLI; 12, XXXIV).

Отказ от категорических утверждений, отсутствие догматизма не есть еще, конечно, равнодушие. Мир, состоящий из хаоса и атомов, неравноценен миру, управляемому единым разумом. Диалектически нельзя выйти из постав-

ленной перед нашей беспомощностью альтернативой, но общий характер мироздания и наше самосознание согласуется более со вторым, чем с первым решением. Человек находит в мире необходимость; опыт его бессилия научает его быть фаталистом. «Что бы с тобой ни случилось, оно предопределено тебе из вечности, и сплетенье причин изначала связало твое существование и происшедшее в нем событие» (10, V). Но эта необходимость устрасает лишь поверхностный взгляд; для более проникновенного она превращается в провидение. Постоянно у Марка Аврелия повторяется эта альтернатива: слепой случай или разумная необходимость, — только один раз появляется трилемма: роковая необходимость, или благостное провидение, или же беспорядок и господство никем не управляемого случая (12, XIV). Но господствующий взгляд в «Размышлениях» видит эту необходимость в ее нравственном аспекте. «Все происходящее происходит не только согласно определенному порядку, но и согласно справедливости, как будто кто-нибудь распределял все сообразно заслугам». Таким образом, самый фатализм уже не подавляет человека, а ободряет его. Мудрый должен всецело восчувствовать действие вселенского разума среди кажущегося хаоса и мнимых побед зла; он не обвинит природу за то, что «она раздает жизнь и смерть, славу и бесславие, радость и горе, богатство и бедность, не делая различий между добрыми и злыми» (2, XI; 9,1). Марк Аврелий хорошо знал, насколько сильно поднимается здесь возмущенное чувство справедливости, и он стремится его успокоить, показывая несоответствие нашего ограниченного мерила и неисповедимых бесконечностей космоса. Природа никогда не может быть всецело понятной человеку, но она и не должна быть для него чужой: ему дается ей следовать; «жить сообразно природе» — заповедь не одного стоицизма, а всей античной этики; разногласие начиналось только там, где спрашивали, что надо понимать под природой? Нужно ли ее искать в обособленной человеческой

личности или в целом мироздании? Является ли, согласно Протагору, человек мерой всех вещей или «все вещи», всё — мерою для человека?

Стоики, как известно, решительно отстаивали второе толкование, отстаивали физический и моральный коммунизм бытия. Марк Аврелий не считал возможным диалектически доказать разумность целого, он, по-видимому, допускал возможность морального отношения к жизни даже при чисто атомистическом мировоззрении, но он сам испытывал как бы религиозное благоговение перед природой в ее целом. Следование природе должно быть чуждо горечи и ропота.

«Беглец — тот, кто скрывается от своего властителя; и если властвует закон, то и нарушитель закона должен быть назван беглецом. Но и тот, кто сокрушается, гневается, боится, — тот не желает чего-нибудь совершившегося, совершающегося или имеющего совершиться в силу порядка, установленного мироправителем — законом, который определяет каждому подобающее. Итак, тот, кто боится, сокрушается или гневается, тоже беглец» (10, XXV). Природа, велящая коей должен повиноваться человек, — есть единство и целость, которое не может быть дано в чувственном опыте отдельного человека (11, V); выражаясь термином Д. Бруно и Спинозы, это скорее *natura naturans*, чем *natura naturata*¹. Это единство не только разумно — оно божественно.

Догматизм религиозный присущ «Размышлениям» не в большей мере, чем догматизм философский. «В теологии, — говорит Ренан, — Марк Аврелий колеблется между чистым деизмом, политеизмом, истолкованным в физическом смысле, как его истолковывали стоики, и своеобразным космическим пантеизмом. Он не держится за одну гипотезу более, чем за другую, и пользуется безразлично тремя словарями — деистическим, политеистическим и пантеисти-

¹ Природа творящая, чем природа сотворенная (лат.).